

Вечер. Туман. Море еле освещено. Самый свет далеко-далеко. Изредка кричат чайки, словно бы хохочут, потерянно, с истеричной гомосексуальной интонацией.

– А вы, простите, кем доводитесь умершему? – вдруг приблизилась соседка, обдала таким же, как и сама, постаревшим и каким-то бесполом парфюмом.

– Так, приятельствовали.

– Обратите внимание, барышня рядом с Круковьякиным – любовница покойного, – не удержалась старуха. – На двадцать лет моложе! Даже не скрывает публичность связи. И деньги, говорят, пропали.

На том краю стола звонко постучали вилкой по бутылке:

– Теперь уже можно сказать, что Виктор Борисович – великий русский писатель!

– А ведь сын городской алкашни, – снова прошептала старуха. – Дырки от общества.

Это был момент, которого Слава боялся всегда, цепенел и не справлялся с ним – тоска одиночества, такая страшная, как неземная. Невыносимая, руки леденеют, замирает душа, и колотится сердце – будто от обиды. В каком-то отчаянии обежал памятью нескольких людей – пустые, холодные лица, и в который уж раз повторил сам про себя: «Я никому не нужен. Меня никто не любит». Хотелось встать и прекратить это навсегда. Кто не был одинок, тому не понять... И тут Витька, Магда, подруга ее Татьяна. Вошли, продолжая уличный разговор, распахнули дверь, и уютный электрический свет прихожей застыл перед серым и будто неживым пространством двора. Они вытащили Славу из сумеречного состояния. Общаться было трудно, и он, наверное, диковато смотрел на них, медленно, нехотя, рукав за рукавом натягивая на себя пиджак светской беседы. Он только теперь вспомнил, что Витька уезжает, за ключами пришел, спросит сейчас.

– Что брать с собой в такой сезон? Всегда непонятно.

– Меня брать, – Слава хмыкнул и смущенно растер по голове седые, сильно поредевшие волосы.

– Еду матери с братом надгробие поставить.

– Да уж помню – кресты из водопроводных труб сварены.

– Вот... Собирался в Доме актера остановиться, но, понимаешь, позвонил – дороговато. Ведь не сезон, а все равно, понимаешь!

– Да, понимаю, – а про себя огрызался: «Деньги на мертвых, а мне, еще живому, жить не на что».

– Дашь ключи от квартиры?

– А когда я их тебе не давал?

Внешне Витька будто бы негодовал на поездку, но все же был весел, возбужден, казался помолодевшим и почувствовавшим, как всякий человек, который уезжает куда-то. И Слава позавидовал его радости и молодости, подхватив как бы его мысли: «Магда больна раком... Останутся московское жилье, дача, какие-то ее накопления, и со всем этим – долгожданная свобода и тот самый момент жизни, в котором он уже ни от кого не зависит». И на пальто его кашемировое смотрел уязвленно, обижался на высокие ботинки из бархатисто-коричневой замши, с негодованием косился на красивый узор перфорации. Сам-то уж давно одевался в секонд-хенде, и то стараясь попасть на «счастливый час» со скидкой. А было время, когда Витька кланчил у него всякую «фирмовую» одежду. Тот джинсовый костюмчик, присланный из Израиля. Он шел ему, Славе – нет. Стиль не его. А Витька ходил с подвернутыми манжетами, как киноактер. И в редакции крымской газеты с насмешливой и высокомерной завистью поправляли воротничок с вывернувшимся лейблом: «Фирму носим, Витя, да? Интересно-интересно».

Татьяна все хихикала чего-то, а потом, когда Витька в очередной раз отлучился, сказала стиснутым голосом: «Слав, у тебя что, разливают в ванной?»

Магда наострила нос. Витька вышел. Все ждали его. Выдохнул, пригладил волосы и усмехнулся с развязным удивлением: «В парикмахерской сегодня сказали – у вас не волосы, а пушок. Пушо-ок».

– Ты где успел дернуть, животное? – Магда заглянула в ванную, гремела там бесцеремонно, но ничего не нашла.

Слава протягивал ключи и все еще надеялся, что Витька позовет с собой или Магда вдруг предложит сопроводить мужа в Крым, следить, чтоб не пил, денег даст – хотя бы на билеты.

– Ты надолго? Или туда и обратно?

– Туда и обратно.

Парк. Пыльные сумерки. Конец октября. Опавшие листья кажутся бесплотно белыми. Завибрировал в недрах одежды, удивил своим настойчивым существованием мобильник. Не любил он эти телефоны, раздражали они. Длинный крымский номер. Ветер срывал звуки трубки. Валя из Васильевки. Когда-то была влюблена в Малаховского, Витьку. Таскалась на квартиру Славы и раздражала тупым сиденьем у Витьки на коленях – как ни придешь, они сидят в темноте на табурете.

– Ну что, Валя, что? – разозлился, затрясся душой, думая, что Витька устроил пожар или затопил квартиру.

– Приезжай... Витю хоронить.

Тошнотворным холодком обдало живот. Это знакомое чувство отчаяния и невозможности поверить случившемуся. Отстранил телефон, попятился от него.

– Он с любовницей был у тебя! Молодая, сорока еще нет, – далеким кукольным голосом выговаривала Валя. – У него инсульт, а она постеснялась скорую вызвать! Гондоны по всей квартире! И это... Слав, у него доллары с собой были на памятник, а я посмотрела – вообще ни рубля не осталось. Нормально?!

Резко, точно из-за небесного угла, подул ветер, и в сумраке с деревьев оглушительно сорвались аплодисменты. Телефон вспыхнул под ботинком, видимо,

убрал его трясущимися руками мимо кармана. Мог бы и потерять. Тут же новый звонок, и свет сквозь ржавые дырочки кленового листа. Поднял, прислушался и скрипел.

– Представляешь, эта сволочь умерла! – вскрикнула Магда. – Похорони его. Слышишь?! А я ногу сломала, упала на похоронах Крандиевского. Саша передаст туфли и белье.

– А он поедет?

– Нахрена?

В ее грубой громкости ему показалась растерянность перед сюжетом и мстительная радость: «Вполне еще здоровый мужик, конечно, думал пережить жену, большую раком, пользоваться ее деньгами, квартирами и так далее». Даже Сашу, сына, не пустила.

Телефон снова вибрировал в ладони. Люди как будто бы дорвались. И не скорбь слышалась, а крикливая радость новости или наигранный трагизм.

– Тромб, Слав. Там нельзя вычислить. Поедешь? Ты ему как старший брат был. Не беспокойся, ты все для него сделал.

– Что все? – он даже не понял, кому отвечает.

– Ну все, что мог, ты для него сделал. А, забыл сказать: с тебя некролог «Провинциальным задворкам». Ты лучше всех его знал.

Такая же осень. Семидесятые и советская тоска, которая была, была, о ней почему-то забыли. «Керосин! Керосин!» – кричит мужик на улице. Что-то пилит сосед в тисочках. Гудит керогаз. Витька ходит по ялтинской коммуналке в пальто, накинутом на плечи, бубнит свои стихи. Мечтал публиковаться в московских журналах.

– Скажи, а что, если я возьму себе псевдоним – Вагантов? Виктор Вагантов.

- Флаг тебе в руки, товарищ Вагантов!
- А что, что?
- Керосин! Керосин!

Каменное удушье кладбища. Гроб от Союза писателей ему был велик. Витька лежал без пиджака, в белой рубашке. Казалось, ему легко и просторно в гробу. На бежево-серой, лоснящейся от грима шее вздрагивал на ветру воротничок. Рядом наконец свои – брат Толька и мать. Слава невольно посчитал, и выходило, что Виктор умер в том же возрасте, что и мать, коротышка Дуська. Пятьдесят восемь лет. Живые толклись в ожидании углубления и расширения могилы. Каменистая ялтинская земля, клочок кладбища, словно этажерка, балансирующая меж холодными, мрачными горами и морем, синевато-теплюющим далеко внизу. Тяжко стало, мелкими показались дела человеческие, а жизнь – такой короткой, что дыхание в груди сперло. Детская писательница с прилизанными волосами на маленькой головке и в несуразно больших очках зачитала биографию покойного с листка, ветерок играл им, как и уголками воротника. Писательница сбивалась, дрожащей рукой расправляла бумагу. Журналист «Крымской газеты» с важным подобострастием держал перед выступающими мобильник: Магда слушала прощание на кладбище по громкой связи. Серо, промозгло, и всюду фото умерших – толпы суровых, печальных лиц с поджатыми губами. И этот простор в нежной сиреневой дымке, резко забирающий взгляд высоко вверх, справа обрывающийся вниз и уводящий в бесконечную даль, когда уже не разберешь, что там – море или космос.

Поминки. Открытая площадка летнего кафе. Море посеревшее, в мелкой резьбе волн и каких-то дрязгах брызг на поверхности. Сколько свирепости в этой мелочи волн! Тент хлопал и ослеплял, что-то напряженное, болезненное в этой белизне. Кукольно-китайский дребезг стульев и столов, составленных вместе. Полуслепой блеск пищевой пленки на кушаньях. И это вечное: «Я помню... Кто бы мог подумать? Вот только вчера... или позавчера я с ним говорил, он был трезвый».

– Я помню наши разговоры с Виктором в редакции. Он приносил свои рассказы, из позднего, – унылая дама, пальцы в дешевых перстнях бережно поправляют черное с проседью каре. – Он был украшением «Ялтинского литератора». Газета закрылась, кстати.

– Нет, простите, очень некстати! – откликнулся кто-то.

– Денег хватает на все, кроме культуры, как вы знаете. К чему это я? Так вот, я хочу напомнить слова Чехова: «За дверью счастливого человека всегда должен стоять человек с молоточком и напоминать о многих несчастьях других».

Пожилая дама из тех, что полны изнуряющей и бессмысленной энергии. Большие, по старой памяти плотно причмокивающие накрашенные губы, черная водолазка, дерматиновый жилет, несколько ярусов причудливых деревянных бус. И Слава с улыбкой вспомнил вдруг, что сам покойный называл ее «человек с молоточком».

В стеклянных стенах кафе, удлиняясь и уменьшаясь в ледяную бездну, отражались другие столы и другая компания, но и там ветер так же трепал белую с люрековым блеском скатерть, так же скорбно стояла женщина. И взвихрились оттуда салфетки, прилетели и закружились под ногами Славы.

– Скажите, почему здесь микрофона нет для выступающих?

– Вы кому?

– И я хочу помянуть, хоть я и не пью! – и этот настойчивый стук вилочкой по бутылке. – Я помню...

И я помню.

Шестьдесят шестой год. Поддавшись советскому романтизму, пошел после школы на стройку. Строили ялтинский автовокзал. Молодежная бригада – Саня Давыдов, ломавший об голову кирпичи и в детской комнате милиции требовавший себе женщину; голубоглазый, черноволосый красавчик Мазур, в пятнадцать лет уже пивший водку стаканами; и Толька Малаховский с Чайной горки, всегда голодный. Слава радовался, что может поделиться с ним завтраком и обедом. Толька любил читать и гордился, что живет на улице Достоевского. А еще врал, что его дядя – капитан дизель-электрохода «Россия». Его как малолетку отпускали с работы пораньше. Слава собирался к шести. О, эти прохладные железные шкафчики, вырезки из «Огонька» – фигуристики, гимнастки какие-то – застенчивая советская эротика; спецовка, заляпанная краской и белилами, местами мягкая, местами ломкая. И приветливый трепет родной одежды. Чистая и легкая усталость молодого тела. В кармане фуфайки – «Юность», свернутая трубкой, и под пальцами приятный перебор почернелого веера страниц. Серый ялтинский декабрь. Да, это был декабрьский день. Слава возвращался с работы и у своего дома под кипарисом увидел замерзшего Тольку. Зачем-то снова протянул ему руку.

– Ты че, женатый, что ли, в перчатке здороваться?

Слава стал стягивать перчатку.

– Ты спишь, что ли? Мы ж с утра здоровались!

– Чего ты разбушевался тут?

– А ты чего так долго? Заколебался ждать тебя!

– А чего ты ждешь?

– Приглашаю тебя на свой день рождения!

Это было неожиданно и приятно. Слава застеснялся, отказывался.

– Пойдем, не выпендривайся! – Толик схватил его за руку и потянул.

– Ну, пожалуй. Ладно, дай хоть переоденусь.

Забежал домой. Мать в пальто стоит у керогаза. Жарит бычков. Взял у нее конфеты «Красный мак». Надев куртку, замер на секунду в нерешительности, неизвестно для чего зафиксировал нахохлившуюся мать, озадаченно поджатые губы бычков – ну, обычный момент жизни – и вышел. Всунул коробку в красные от холода руки Тольки. Вид у него растерянный, недоверчивый.

– Тебе, ну!

Ехали в раздувшемся от народа автобусе, на «Володарского» он, как всегда, опасно накренился, и Слава, прижатый к двери, затосковал, будто предчувствуя что-то: «Зачем еду? Куда? К кому?» И в то же время что-то приятное, интимное нагревалось в груди, ширило ее.

Коммуналка на Чайной горке. Сыроватый запах пельменей. Каморлюк четыре на четыре, освещенный лампочкой в сорок свечей. Приземистая женщина курила в форточку. Кривая трещина на запотевшем стекле жирно залеплена почерневшей, влажно блестящей замазкой. В промежутке меж окон – трюмо с новогодней бахромой на зеркале. На кровати с газеткой «Советский спорт» лежал мужчина. Возле батареи, в которую сухо влипла половая тряпка, грелся мальчик. Назойливой мухой жужжала радиоточка.

– Вот, Витюха – братан! – насмешливо представил Толька. – Я ему рассказывал, ждет тебя и пельменя лепит с самого утра!

– Лепит. Горбатого он лепит! – мать затушила окуроч в банке из-под кильки. – Вчерась захожу в сараюгу, а они там «чаврик» пьют с цыганенком Саповским!

– Рановато, Витюха, – зашелестели газетой худые татуированные пальцы мужика.

– Пьете, говорю, а матери не оставляете! – щерится в улыбке, похожая на воробья – большой живот, тонкие ножки.

Радиоточка, «Советский спорт», но чувство, будто попал в дореволюционное прошлое, к несчастным рождественским мальчикам. Щуплomu, гибкому Витьке трудно было дать его двенадцать лет.

Пельмени Малаховские ели настороженно, будто прислушиваясь к чему-то и обдумывая каждый свое. Витька исподлобья, как это делают дети, поглядывал на него. Бутылку достали из сетки за форточкой. Она запотела, пошла потеками. Мужик отгрыз крышку-бескозырку: «Причастимся», – и кивнул Славе на рюмку. Он подвинул, торопясь прожевать, и вдруг больно прикусил зубами что-то жесткое, скользко-хрусткое. Замер, ощупывая языком, стесняясь пальцами лезть. Витька издал какой-то звук, стул восхищенно заскрипел под его легким телом.

– У него, у него! – вскрикнул он и заерзал, будто углей под зад подсыпали. Как блестели эти глаза! Сколько в них было радости и счастья!

Это Витька копейку в пельмень залепил.

– На эту копейку я жизнь прожил.

– Что?

– Это я так, сам себе.

– А вы тоже стихи читать будете? – полная старуха в шляпе. Крупные загорелые руки. Морщинистое, ког-

да-то, видимо, красивое голубоглазое лицо, но с годами тяжело и грубо помужевшее. – Мы по очереди.

Слава встал из-за стола и отошел к перилам кафе. Сердце задышалось. Едко-кислая слюна во рту. Сплюнул. Снизу на него посмотрел старик. Он ходил по пляжу с металлоискателем. Отрешенно водил им из стороны в сторону у самой кромки прибоя, рвущегося кривой пенной полосой. Что-то безумное в этом.

– Мы с Витькой... Виктором Борисовичем вот только на днях пересекались, – доносилось с площадки.

Тот зимний день рождения был единственный раз, когда он видел всю семью за столом. Так и болтается эта светящаяся колба во мраке памяти. Витька пронзил его душу. В груди заныло. И водка за четыре двенадцать оказалась какой-то свежей, вкусной. Эти пельмени, укус. Слава смотрел на убогое жилье, освещенное мрачным светом сорокаваттки, на помойное ведро под раковиной, на грязные кальсоны в углу, а душа наполнялась радостью, и казалось, что впереди его ждет что-то очень хорошее и сбудется все им задуманное. Хотелось рассказать им всем что-то невероятное, новое, зарубежное. На радостях он даже заспорил о чем-то с татуированным мужчиной и говорил ему: «Ну, положим, вы правы, Борис». Витькина шкодная голова, наклонявшаяся из-за Толькиного плеча, тонкое красное ухо, блестящие глаза. Начитавшийся Диккенса и прочих «детей подземелья», Слава поклялся спасти его, защитить. И задышался от радости и громадьи будущих планов. Опьянел, тосты провозглашал какие-то, анекдоты про Брежнева рассказывал. Потом бегал в уборную на улицу. Приятно и радостно было чувствовать распалившимся лицом резкий холод декабрьской ночи. Мочился, покачивался и с наслаждением бур-

чал под нос: «Жизнь – это суший пустяк, Славка! Такой прекрасный и очень пьяный суший пустяк!»

В школу Витька почти не ходил. Воровал со своим другом Саповским варенье по сараям и рубашки отдыхающих из санатория имени Куйбышева. Одну даже Слава у них купил за десять рублей. Потом Саповский несколько раз приходил: мол, продешевили, она нейлоновая, добавь два рубля.

– Что же ты делаешь, Вячеслав? – горько изумлялась мать. – С кем ты связался? Мамаша – городская пьяница, мужик – отсидел, говорят, человека топором зарубил, и это хулиганье с Чайной горки!

Но Витьку мать жалела и привечала. А он уже почти поселился у них. Много читал. Скрывая слезы, тряс плечами над «Нелло и Патрашем». Холод, сквозняки в коммуналке – и Витька вместе со Славой спал на старом раскладывающемся диване. Когда с одной половины кто-то резко вставал, вторая падала. Мать подкладывала им в ноги нагретый на печке и завернутый в тряпку кирпич. Зимние холода, грозы и молнии, бросающие горы с места на место и освещающие море, которое ночью, оказывается, такое же голубое, как и днем, этот кирпич в ногах...

Дети Малаховские поражали его. Какие пронзительные были дети! Стремилась к красоте, пытались образовать вокруг себя дом. Толик бил в туалете бутылки с родительской водкой, гнал из квартиры-голубятни пьяниц, книжки читал. А Витька вдруг пошел на киностудию с просьбой сниматься в детских фильмах! Тольке проговорился, тот хохотал, дивился и всем об этом рассказывал. Никто не верил, конечно, этому сумасбродству, наивной детской прихоти. Но Витьку взяли! Сами пришли за ним в сараюгу и позвали «в кино». Он подстригся, выпросил у брата его любимую рубашку с кармашками на молнии и шевроном на рукаве («Дядя привез из Аме-

рики»). Витька снимался в «Дубравке». Там был один эпизод, для которого выбрали именно его. Вернее, его спину. Нужно было, чтобы на мальчика сзади прыгала кошка. Она невольно царапалась. Своего ребенка московские родители отвели в сторону. Использовалась шкура пацана без защитников. Было несколько дублей. Кошка расцарапала кожу до крови. Но главное – пострадала рубашка. Витька с обидой вспоминал это. Вспоминал, как прятался в сарае, проклинал это кино и плакал, ожидая кары. А потом его с матерью вызвали в кассу Ялтинской киностудии. На телевизор «Верховина», купленный с первого гонорара, собирались соседи, и он с гордостью сидел среди них, как взрослый, оглядывая притихших мужиков и баб. «Дети пьяниц, а гляди-ка, в люди выходят». Потом он снимался еще в каком-то известном фильме вместе с Николаем Крючковым. Бывало, народный артист пил, и съемки задерживались. Коротышка Дуська тоже присоединялась к этим интересным эпизодам за кадром. Ее прогоняли с площадки. Витька страдал и боялся, что и его попрут заодно. Когда съемки закончились, то перепутали его фамилию в титрах. Он переживал. Стеснялся соседей. Через много лет, когда он потерял деньги и писательский билет, эти же соседи ему с благоговением вернули все: «Смотри, добился своего! Член... Вышел-таки в люди!»

Вспомнил и это – как однажды задержались возле киоска «Союзпечати». Витьке понадобилось что-то. Он жался с краю, переминался с ноги на ногу.

«В ГДР на пленуме ЦК Социалистической единой партии Германии руководителем стал Эрих Хонеккер»... «Л. И. Брежнев начал трехдневную поездку в Грузию»...

И вдруг Слава краем глаза заметил, как Витька, перебирая снимки-открытки актеров советского театра и кино, разложенные на переднем плане, воровато под-

кладывает меж ними свое фото, свои детские кудряшки и торчащие уши.

– Это для вас он писатель и член жюри. Для меня он просто сосед... Так, мобильный, извините.

– Скажите, а где греческий салат? Это греческий салат?

– Это кутья!

– А я думала, греческий салат. А где же греческий салат?

– Зыли!

– Ой, как прекрасно! Хы-хы...

Задувало свежим, солоноватым ветром с моря и тут же – мусорной пылью. По тенту над столами ходили и тихо переговаривались чайки. Иногда кто-нибудь из них выглядывал, показывая нервную и подозрительную голову, как у сумасшедшего с манией величия.

– Соль и кипяток бесплатно, пиво только членам профсоюза.

– А кто же оплатил поминки?

– Виктор Иванович...

– Борисович!

– Борисыч! Известный российский писатель, член жюри!

Лет в четырнадцать Виктор принес «рассказики» в школьной тетради. Слава, уже студент Литинститута и «настоящий писатель», брезгливо листал страницы, насмешливо морщился, а потом, прочитав про пьяницу-мать под забором и слезы мальчика, постеснявшегося признать ее при друзьях, возрадовался своему наитию и со страхом дивился верности судьбы, выведшей его на этого пацана.

– Да это настоящая проза, Виктор!

– У меня еще много таких проз, брат!

«Как восхитительно и радостно парит в небе чайка, вместе с ней парит и возносится, мечется и опадает моя душа. И не верится, что это та же самая птица, когда она приземляется – грузная, безобразная, – с обыденным бесстыдством копается в объедках на пляже». А еще там были аплодисменты листьев, срывающихся с осенних деревьев, к которым вдруг прислушивается ожиревшая, расхотевшая летать чайка. Где он мог в Ялте услышать эти аплодисменты? Напыщенно, будто списал у какого-то манерного автора.

Едва доносится шум прибоя. Вдали – бесстрастное гладкое море. И взгляду с поразительной четкостью достигаем серебрящийся запредельный проход меж потолком неба и полом моря. Внизу, под опорной стеной кафе, кто-то нервно громыкает галькой и кричит в мобильник:

– Не понял! Еще раз!

Длинный, худой и дерганый представитель от Союза писателей, с простым и каким-то неписательским лицом, бывший военный, кажется.

– Мне уже час как в Симферополе надо быть! Нет, я просто недоумение свое выражаю, – он отвечал кому-то, чей голос едва угадывался.

Жесткий, будто из пластмассы пиджак с негнущимся дешевым блеском и эти туфли с загнутыми вверх мысами – как же любят местные чиновники именно эту модель – «лыжи».

– Да какой писатель, я тя умоляю! Че он написал-то?! Книжонка с рассказиками в эсээровские времена. Мне просто из Москвы позвонили, а так бы... Это что, мои прямые обязанности – каждого московского алкаша хоронить?

Дурак! И я дурак. Пусть я лукавил в чем-то, таил свое когда-то, но я не мог уже бросить этих хрустальнейших

детей, каждого тащил как мог. Сколько сил, нервов моих и матери, сколько денег ее потрачено! А главное – времени сколько ушло! И не комедия, и, в общем-то, не трагедия. Дырки от общества... Какой же это был год? В комнате сумрачно. На улице, над подвалом, тускло светится вывеска общества слепых. Вскрикивает чайка на куполе бывшего госпиталя. Еле видимый в кресле у окна, что-то читает Витька, еще в армию не ходил.

– Ты чего в темноте?

Включил свет и поразился его бледности. Листает страницы – и вдруг, по-дирижерски вскинув руки, сполз на пол и захихикал, потом в шутку пополз к нему по-пластунски, но с таким исковерканным лицом, что Слава отпрянул – Витька не смеялся, рыдал:

– Таньку с пятой бани изнасиловал!

– Как?! – Слава и сам засмеялся от ужаса.

– Раком!

Слава снова усмехнулся нелепой шутке.

– Все, Славик! Кончилась моя судьба! – и рыдает.

Как когда-то под лестницей, рядом с комнатой техничек, беззвучно рыдала восьмиклассница Говердовская. Красавица с синдромом отличницы. Лучше всех писала сочинения, обсуждала с ним «Анну Каренину» – Слава вел у них одно время литру – и вдруг забеременела.

– Как же такое могло произойти, Таня? – с горькой задумчивостью изумлялся Слава и вроде бы смотрел в классный журнал, а сам с неподотчетной брезгливостью, ревностью и страхом пытался разглядеть в этом ангеле темное, не подвластное никому.

Чайка кричала на куполе, и Витька горько плакал.

На то, чтобы Танька с пятой бани забрала из прокуратуры заявление, ушли все его сбережения, еще и у матери пришлось заниматься.

– Друзья! А помните?..

Ноябрьский туман. Море и небо неразличимы. В мягком, тускло-белом космосе замер серый катерок, а гораздо выше над ним, в дрожащей эфирной бездне, стоят яхты с тонкими, как свечи за десять рублей, мачтами.

– А это что за салатик, не в курсе?

– Соль и кипяток бесплатно, пиво только членам профсоюза.

– А вот чуть не забыл...

Помню и я – как спасал Витьку от кулаков озверевшего пьяного Толика – он колошматил его головой об асфальт, а я ладонь под затылок подставлял. В армию, в Барнаул, отправлял посылки с продуктами, деньги и книги посылал. Хоть там у него нашлось время «Антоновские яблоки» и «Фро» прочитать. После службы стал возить его в Москву и Ленинград. Лившиц натаскивал его по литературе, особенно по любимым своим акмеистам. Знакомил с творчеством русской эмиграции, но говорил, что Витька истероид с резиновым стерженьком.

– Ну а я с каким, Эммануил Хаимович?

– Вы сфинкс, Слава. У вас стальной стержень.

Как-то Витька разнес «Подвиг» Набокова, а Слава снисходительно думал – он просто злится на что-то, ревнует его к Лившицу. Мало ли чего. Тогда уже одно слово «запретное» делало каждый роман «оттуда» гениальным. Только сейчас, по второму прочтению, Слава и сам разглядел, что «Подвиг» в чем-то слабоват, ну, юношеский романчик. А у Витьки было врожденное чутье. Ведь было! И писал хорошо, не по-советски, дано было неистребимое драгоценное слово.

Но ужас братьев продолжался. Первым ушел Толик.

– Толька умер, на...! – коротышка Дуська поджидала Славу после уроков.

– Как умер?!

Только умер нелепо и романтично, как и жил. На стройке в Мухалатке он и Кларка-колеровщица, очередная подруга его, попросили крановщика поднять их на крюке – на море посмотреть с высоты полета чайки. Как до такого додуматься? Пьяные наверняка были. Крановщик их поднял, но что-то там заклинило. Кларка выжила, упала на Тольку.

Потом мать умерла от цирроза печени. Перед смертью успела послать врача: «А подь-ка ты на...!»

А младший ее попался на краже. Самое ужасное – на тот момент дома у Славы в столе уже лежал и отсвечивал столичным лоском вызов: В. Б. Малаховский прошел творческий конкурс и допускается к экзаменам в Литературный институт.

О боже, какой же непроходимый дурак! Слава все-таки впихнул Витьку в Литинститут, в котором сам еще учился на заочном. Экзамен по английскому Витька сдал за счет рассказа об акмеистах. Но все равно не прошел. В списках поступивших его фамилии почему-то не было. Запил, связался с какой-то извращенной мажоркой из кэ-гэбэшной семьи. Уже в конце сентября Славе позвонил комсорг Литинститута: «Поступил я твоего Малохольного. Пусть на лекции ходит. Где он?»

Может, и не надо было всего этого. Но где, где тогда мог оказаться этот человек, который, продолжая семейную традицию, подворовывал и пил все больше и больше? И с годами шел только в одном направлении.

За столами становилось громче. Люди неподотчетно хотели веселья. Не покидало странное ожидание, что сейчас сюда придет Витька, со смущением новоприбывшего присядет с краю, тихо спросит, по какому поводу

банкет. Это все не проходила легковесная инерция жизнепроживания, как и в тот момент, когда Слава с порога почувствовал в своей квартире теплый и сладковатый, на грани противного, запах и сразу понял источник его. «О-о, брат, да от тебя уже трупом пахнет!» – мгновенная шутивая мысль и, как всегда, тут же – стремительный позыв, что можно исправить и эту незадачу в Витькиной судьбе. Так интимно и раскрыто пахнут только новорожденные и умершие.

Шум прибоя – вдруг врывающийся в мысли, так неожиданно шумно вспухающий, что хочется вскрикнуть: «Хватит»!

– А помните...

Как же странно смотрелась за столами небольшая группа людей, знавших его эпизодически и пытавшихся придать воспоминаниям интимный характер! Они, не переставая, читали свои стихи, задаривали друг друга никому не нужными книжонками, изданными за свой счет или по благотворительности местных олигархов. Один из них сидел поодаль, закинув ногу на ногу и листая свою книгу в золотом тиснении. Плотная бумага сияла дорогим глянцевым блеском. Ленточка-закладка на сквозняке трепетала над книгой. Автор явно ждал слова и нервно листал «себя». Твердое молоджавое лицо, темные принципиальные глаза руководителя, морщинки в уголках, родинка на щеке.

Люди бесхитростно радовались возможности вот так посидеть, выпить, распалить себя прочувствованным словом и прочесть свое. Внезапная смерть в общем-то не старого еще, известного земляка сообщала всему особую тревожную сладость. Помягчели и расплылись тела, развязнее стали жесты, словно люди, скорбно сидевшие

в начале, ушли, а на смену им явились другие. Покраснели соседки с боков, затуманились глаза дымным хмельком. Пожилая дама в шляпе уже посматривала на Славу с женским, ироничным и в то же время робким интересом в глазах. Надо же, этот огонек не погас в ней, как это часто бывает даже с молодыми женщинами – серыми, будто присыпанными пеплом.

– Я сегодня поэт, а завтра не поэт и прошу не вешать на меня ордена! – худая женщина с косматой головой и желтым, морщинисто-нервным лицом выговаривала полупьяному соседу, но в то же время посматривала на остальных, ловила взгляды, слушают ли. – Это вообще сто восьмой круг от когда-то брошенного камня! Озеров, кажется, сказал. Не помните?

– Господи, как хорошо, что хотя бы бардов здесь нет!

– А вы хлеба не подадите?

– Какого? Кто так раскладывал? Белый на одном краю, весь черный на другом!

– У вас рукав в беже.

– Вот, возьмите... Понимаете, стихи отрастают. Это вызов. Это интимно. Я не хочу, чтобы трогали руками! – кому-то незримо доказывала дама. – Я пишу и не хочу никому давать. Нельзя никому объяснить, почему этот стих хорош. Все стихи оказываются всего лишь эхом. Они нисходят, диктуются свыше, что ли. Как их можно судить?

Мужчина, какое-то знакомое лицо, подпирал рукой тяжелую, хмельную голову, а в глазах – маслянистая задумчивость с одним только вопросом по плотской части, но слабым, издевательски ленивым. Женщина это чувствовала и раздражалась:

– Начитанность видна, понимаете? Никто не хочет тратиться. Олеся Склянская-Ондар тратится по-другому. Что? Нет, вы молчите, просто молчите. Симулируйте нерешение.

– «Русский стандарт» – это хорошо, – медленно выговорил мужик и поднял рюмку. – Но жестковато, жестковато.

Люди пили, смотрели на часы, вставали, говорили свое «я помню», и тут же это начинали другие, от нервности обозначая свою продолжающуюся жизнь.

– А помните, совсем недавно они с женой вели «Чеховскую осень»?

Витька и Магда, как писатели из Москвы, заседали в жюри самого известного ялтинского фестиваля.

– Я помню: стоят на сцене! – восхищается мелкая, мышкообразная женщина, сияя глазами и нервно прихлебывая из рюмочки. – Она читала свои стихи, забывала, и он подсказывал ей строчки, продолжая читать за нее. Это было так трогательно!

Слава там сидел в первых рядах, смотрел на него и гордился до слез. Конечно, это «Ливадия» уже стукнула в голову, но было приятно, честно! Господи, сколько у Виктора было хороших девушек, которые могли создать быт, как-то выправить его писательскую судьбу. А он выбрал Магду. Встретились они в общежитии. Магда была в желтой кофте под Маяковского, с сигаретой. Начался литинститутский роман. Люди были одинаково несчастны, и это, наверное, повело их дальше. Сошлись, чтобы мучить друг друга.

Слава покурил как-то с ними в институтском дворе. Поговорили, разошлись. Обернулся, глянул, как шли Виктор и Магда, одинаково сутулясь, и вдруг почувствовал, что надолго это у них.

– Да, умирают поэты. Вспомните Нику Турбину. Как плохо все кончилось.

– А кто же все-таки отец девочки? Говорят, Евтушенко?

– Ой, все!

Общежитская комната перестала быть спасением. Нужно было просто-напросто устраивать жизнь. Витька – бездомный. Ялтинскую каморку мать его уже потеряла. Магда была родом из какого-то зауральского, возведенного на костях врагов народов, радиационного моногорода, возвратиться в который никак не могла. Там когда-то мать, бухгалтерша засекреченной шахты, гонялась за ней с топором.

– А Сережа Новиков, покойный, под конец стал говорить, что это он отец Ники Турбиной. Видимо, своей славы уже не хватало. А ведь в «Новом мире» стихи публиковали. Дружил с московскими поэтами.

– Странно погиб, если не сказать – криминально.

– Еще бы! Имея такой дом и собственный двор!

– Эх, какой там был бумажный ранет! – вырвалось у Славы.

Магде повезло в Москве. Пожилому товарищу мужа Татьяны понадобился для улучшения жилища фиктивный брак. Так Магда получила прописку. Потом ее взяли дворничихой на «Соколе», выдали ключи от комнаты в коммуналке. Жили бедно и трудно. Магда бегала на работу в рваных сапогах. Сашка у них тогда уже родился. Ложился спать голодным. Оставался один на один с самим собой. Мог сутки напролет смотреть телевизор, потом его тошнило от этого. Слава в свои приезды привозил ему пальто и обувь, рыбий жир и крымские фрукты. Ребенок примирил его с Магдой, как-то узаконил ее появление в жизни Виктора.

– А помните...
Как же не помнить?

Они сидели вдвоем с Витькой на общей кухне. Сашка, лет восемь ему было, что-то чертил фломастером на обоях в соседней комнате. Магда к нему подошла.

– Саша картиночки рисует, мой хороший! А вот еще посмотри, там прямо картина, два гомосексуалиста на кухне, – отчетливо слышали они ее голос. – Ты знаешь, кто такие гомосексуалисты?

Виктор вскочил. Слава едва удержал его за руку.

– Вот что, что мне с ней сделать?!

Каждое утро Магда, пока не выпьет кофе и не выкурит сигарету, начинала с мата и разборок. Но вывести человека из себя она могла и одним молчанием. Шло от нее такое, что человека трясти начинало. Копалась в сумках Славы, рылась в записных книжках и письмах. В медицинской энциклопедии полуоторвала и скомкала страницу со статейкой о гомосексуальности.

Витька делал вид, что бегаёт по каким-то подработкам. Сил тянуть воз семьи у него не было. Ерничал, чувствуя себя примаком. Пил. Пять раз он кодировался по воле Магды, пока ему не стало плохо в метро. Врачи говорили, что если у человека нет воли, то кодироваться бесполезно. А она безжалостно настаивала на этом.

– Ты один тут, Саша?

– Да.

– А где же папа?

– А мы почитали с ним «Глупый шмель, золотое оплечье», и он ушел. Как всегда, в «стекляшке» пьет.

Славе казалось, что это литература мучает его. Теперь ему было не до критики Набокова. Напившись,

Виктор обещал выдать гениальный роман о своем советском детстве, говорил, что перестройка произошла только ради того, чтобы он создал эту книгу. Обещания забывались. Пропадали сюжеты. От наблюдений и схваченных чувств оставались сухие скелетики, так и не обросшие литературной плотью. Мелкая суэта жизни засоряла мозг, вышибала из творческого состояния. Собраться и сосредоточиться Виктор не мог, да и не было места и времени сесть хотя бы записать что-то. Так складывалась судьба. Она вся насквозь состояла из сочинений одних для других.

Осень была творческим сезоном Виктора. Голова у него прояснялась. Кажется, он и пил меньше. Однажды в октябре Слава напросился присмотреть за дачей мастера своего семинара в Переделкине. Василий Петрович собирался в круиз.

– Не заливай мне! – шутил он. – Небось бабу хочешь сюда притащить?

«Ну да, прямо как вы на мою квартиру в Ялте!» – едва не вырвалось у Славы.

Он привел туда Виктора.

– Вот, садись и пиши! Тут столько было написано, что и у тебя само собой получится, – командовал с угрюмой радостью. – Только дачу не спали!

Попрятал алкоголь мэтра, по-хозяйски показал, как пользоваться газовой горелкой в ванной, еще что-то и оставил его одного. Радовался его творческому уединению в тиши писательской дачи. Через неделю поехал проведать, купил продуктов на станции, «Рислинг», отметить рассказ или что он там написал за это время. Смеялся про себя, представляя, как его встретит Витька – голодный, обросший, счастливо-творческий.

Поредевший парк Дома творчества. Сочно проминалась хвоя под ногами, скользила. Зеленоватая у берега

и дальше – пресно-светлая поверхность пруда. Маслянистая вода казалась мягкой и теплой. Такая спокойная, что в отражении среди розоватых с подпалинами облаков виден летящий высоко в небе бескрылый самолетик. Он дребезжал, слоился, терялся занозкой. У берега шелохнулась поверхность, легко и коротко чиркнула рыба, и ощущение, будто рыба приподняла, приоткрыла воду. Распластался пришитый к воде водомер.

Странно: уличные ворота были закрыты на задвижку, пришлось обходить со стороны леса, где имелся тайный лаз в заборе. Заворожила странная избирательность солнечного луча. Вдруг в лесу, среди тысяч желтых листьев, вспыхивает и разбухает светом, трепещет солнечным зайчиком, истончается насквозь просвеченный один-единственный лист... Солнце меркнет вдруг, и не видно уже этого избранного, и не найдешь никогда в желтом сонме.

Со двора доносились крики. Чертыхнулся, сдвинул с раздражением доску и отпрянул. Меж черных стволов по желтым листьям бежала ослепительно обнаженная женщина. На розовато-синее, влажно и лаково блестящее тело налипли хвоя, листья. В движении груди плескались, сочно шмякались друг о дружку и разлетались в стороны. Раздувались тонкие ноздри, мышцы лица дергались, раздираемые страстью и веселым азартом, они двигались так, будто по ним изнутри, как по жирному холсту, хаотично водили пальцами. Пьяный дым в глазах. Она сдерживала крик, но он невольно прорывался, прыскал слюной, кривя и выворачивая по краям смачные губы. Голый Витька ухал и носился за нею, видимо, подражая какому-то орангутангу. Хотя он и без этого обезьяна. Курчавились измазанные грязью волосы на руках, груди и бедрах. Сколько было в этом сладчайшем угаре печального и непоправимого упоения! Он был все-таки красив, притягателен. Слава двинул доску на место. Почувство-

вал, как тянет руку сетка с продуктами. Стукнула дверь. Через минуту хлопнула форточка. В абсолютной тишине с истерически смеющимся вывертом падал лист. Еле двигая онемевшими в отчаянии ногами, пошел на кладбище, выпил полбутылки с Борисом Леонидовичем.

– Но ведь было дело, говорили, что чуть ли не Евтушенко отец Никочки?

– Евтух? Красивая легенда, не более.

В перестройку, когда все союзы рвались и дробились, Магда с Татьяной пришли в Союз российских литераторов, остались там помощницами, секретаршами. А потом мужики струсили, психанули, не захотели связываться с неписательскими дрызгами, чураясь чиновничьих проблем и липкой финансовой хляби. В итоге Магда подняла истерично брошенные ключи и печати. Слава чувствовал, что женщины оказались материалнее, проще и смелее, потому что смелость их всегда второго плана, не подразумевающая мужской серьезности, ответственности перед настоящим спросом, словно бы их смелости есть куда отступить и чем оправдываться. Из секретарш Магда и Татьяна стали первыми секретарями. Так начался восход на писательский Олимп.

– И она больна раком...

– Господи, горе какое!

У них появились деньги. Казалось, деньги облегчили участь обоих и ребенка. А Славе стало тяжелее. И думалось, что он уже не нужен им.

Собрались на той же кухне. Стояли разрозненно. Виктор со Славой, Магда у окна с сигаретой, Сашка топтался у дверей.

– А завещай нам свою квартиру в Ялте, – вдруг сказал Витька будто бы в шутку. – А мы тебя деньгами будем поддерживать. Дверь поменяем. Евроокна на лоджии вставим.

Это были не его слова. Слышалась чужая интонация. Слава видел, что все в комнате ждут его ответа.

– Как-то странно, – растерялся, заметался глазами Слава и усмехнулся, но было тревожно и неприятно. – Завещание? Я еще поживу, пожалуй.

– Ну да, он еще нас всех переживет! – Магда выписывала окурком в пепельнице иероглиф приговора и смеялась легко, издевательски, как это женщины только умеют.

Слава продумывал про себя простую логику их мысли и даже позитивно оценивал ее: «Мужчина одинокий и уже пожилой. Помрет, не ровен час, и пропадет квартира, отойдет к государству, а мы моложе его, у нас ребенок». Так плохо было. Он потерял работу и надеялся, что они поддержат его, как он их когда-то. Забавно, он и сам подумывал завещать свою квартиру Сашке, а тут застопорился и не знал, как возобновить разговор. Да и мать жива еще, господи! Через неделю они его выгнали. Пьяный Витька выталкивал его. Магда за спиной.

– Выходи, я сказал! – пьяный и наглый, как ужасно он был похож на мать свою в этот момент. – На выход, братиша!

– Ты меня выгоняешь, что ли?

– Гони его! Он сплетни про нас распространяет!

– Какие сплетни, Магда? Да погоди ты, Виктор! Дай хоть книги собрать, посуду. Кружка там моя – Томашевский подарил.

– А подь-ка ты на...! – Витька даже интонацию матери повторил.

Расстались на долгие годы. Слава все это время жил на даче состарившегося мэтра, присматривал за хлипким советским наследством, опасным и громоздким газовым отоплением, платил коммуналку. Знакомые писатели передавали, что Магда интригует и публично возмущается, что писательская дача мэтра пустует, а проживает на ней некий человек – не прописанный в Москве, не имеющий публикаций и книг и даже не гражданин России. Уничтожала его, а Витька не объявлялся. Не откликнулся на отчаянные письма о помощи. Слава слал их на тайный адрес: «Москва. Ка девять. До востребования». Так Виктор передавал из страха. С безвольными трудно. Только однажды, в День Победы, позвонил в Ялту, матери Славы: «Вы на меня не обижаетесь?»

Матери, в ее восемьдесят пять лет, вопрос показался глупым и пустым.

– А что мне на тебя обижаться?

– Может, вам что-то требуется?

– Ничего мне не требуется, я со страха живу.

Как много этих мурлыкающих и чирикающих о том о сем. Но видеть себя не могут, не хотят или не умеют. «Витька – ссыкло!» – так про него говорил Толик.

А встретились на узкой дорожке к источнику. Магда только получила двухэтажную дачу в Переделкине. Начали сдержанно общаться. Магда изображала жизнь, успех, поэтессу с личным водителем. Сколько фальши, столько и правды получается. Она уже была неизлечимо больна, обставлялась иконами, щедро раздавала деньги священникам и врачам. Снова возобновился разговор о завещании крымской квартиры. А жизнь уже сворачивалась на глазах друг у друга. Все есть, и никого нет. После походов к ним Слава обнаруживал в карманах то пятьсот, то тысячу рублей – стоял и с улыбкой рассматривал эту вечную Витькину копейку из пельменя.

– А помните...

Помню. Магда сидит за столом перед тарелкой. Красное лицо вспухает, ужасно бугрится. Тускло светится под люстрой перекошенный мертвоволосый парик.

– Малаховского не видел?

– Нет, Магда.

Поднялась, пошла на двор. Слава слышал ее матерные крики на улице и удивленные, укоряющие возгласы соседей по даче. Вернулась. Следом сконфуженный Витька.

– Что случилось, Магда? – с легкой усмешкой, будто с превосходством.

Она села за стол, поправила парик:

– Поддай мне вилку, животное!

Витька подал. Она швырнула ее в тарелку и пошла на второй этаж.

– Прекрати красть мои деньги и спонсировать этого античеловека! – кричала, не оборачиваясь.

Нахохлились оба. Стояли пристыженные.

– Я помню, как Виктор Борисович...

Малаховский подобрал возле дачи приبلудную кошку и назвал ее Мусей. Одна эта животинка и любила его. Была когда-то у него детская фотография мальчика с кошкой. Мусей они с Толькой звали свою мать, которую безнадежно любили и пьяную затаскивали домой по очереди. Провожая гостей и поглаживая кошку на руках, он говорил почти по Шекспиру: «Не стал бы жить и дня, но Мусе будет трудно без меня».

Море провалилось в сатанинскую тьму. Холодно зажглись огни в кафе. По столам, отраженным в стекле, летали официанты с той стороны, бесплотно сквозя меж бутылок и фужеров. Молодая любовница напилась и уже не стеснялась говорить о последних счастли-

ливых днях с Виктором Борисычем. Ее слушали, но не слышали.

– Вот вы какая! Надо же, как интересно! – громко, с вызовом, сказал Слава.

– А вы что думали – лохушка-аниматорша с «Поляны сказок»?! Он мне ноутбук обещал купить!

Все склонили головы. Женщины искоса переглядывались.

– Боже, какая прелестная истерика, – начал Слава и оборвал себя, неотрывно, со злостью глядя на нее. Понял, что и сам тяжело пьян.

– Друзья, а давайте купаться голыми! – вдруг закричала желтолицая поэтесса и взобралась на стул.

– Ой, какой ужас! – ахнул кто-то.

– А что?! Так сказать, в честь! Я купалась с Ошаниным! За мной! – она покачнулась, рявкнула стулом – ее едва успели подхватить. – Отпустите меня! Молчите, просто молчите. Симулируйте нерешение.

– Ой, какой кошмар!

– Ей вообще пить нельзя! Категорически!

– А нам выпивку и бутербродики дадут забрать?

– Да вы вон как Сюрябкина, втихаря, в сумку, в сумку.

Оставил их, поразившись, что так долго просидел здесь. Шел по набережной. Печально просигналив, отстранился от города лайнер, разворачивался в открытое море на дребезжащих световых столбах иллюминаторов. Слава думал про свою жизнь и пьяно вопрошал: почему земное не удовлетворяет, почему здесь все наполовину, здесь все – там. Задумался, а уже стемнело – и внезапно вспышка прибоя на темно-серой гальке. «Этот мир неисчезаем!» – вдруг понял Слава.

Пусто в темной квартире. Комки пыли на полу. Липкая посуда, липкая вода, потеки на унитазе. Заколоченные фанерой окна лоджии, будто его заколотили в товарняке

с надписью «В тупик». Открыл материн шкаф – на плечиках ждет Витькино кашемировое пальто, под ним стоят высокие бархатисто-замшевые ботинки с перфорацией, которым он так завидовал.

Магда умерла через год. Ее похоронили на Переделкинском кладбище. Была, кажется, у нее своя тайна. Ей нравились женщины. А в одну из помощниц своих была влюблена и всегда ей радовалась. Это замечали. Но в силу каких-то внутренних установок она не открывалась никому, даже самой себе не могла бы признаться в этих странных чувствах. А жизнь прошла, и многим вокруг нее было плохо, тем она многим и запомнилась.

Сын Саша, которого она так издевательски настраивала против отца и переписала зачем-то на свою фамилию, ничем не интересовался. В свои тридцать пять он продал большую квартиру родителей, комнаты в коммуналке сдал и улетел на какие-то острова.

Василий Петрович, мэтр, умер. Жить в Москве Славе теперь было негде, и делать было нечего. Прибирался на даче перед заселением нового писателя. За ржавым тазиком в ванной нашел недопитую бутылку с выдохшимся коньяком, которую когда-то тщетно искала Магда. Забрал этот мерзавчик в Ялту с собой.

Он лежал в темной комнате. Вдруг за столом, тускло освещенным сорокаватткой, появился Виктор. Он молчал. И Слава не знал, что сказать. Виктор поднялся, скорбный, в своем кашемировом пальто и с черной сумкой через плечо. Слава поднялся следом. Виктор подошел – возникла та самая, так хорошо знакомая Славе заминка – и стал как бы немного приседать, будто на колени встать хотел.

«Ты же умер. Тебе это не нужно, наверное, как и всегда было не нужно», – растерянно размышлял Слава.

И у Виктора было потерянное лицо, он как бы оттуда вспоминал, что когда-то делал в этой жизни, и как теперь быть, что-то не складывалось. Замер в нерешительности на этой мучительной грани и начал копаться в своей сумке.

– Что ты ищешь?

«Баллончик», – слышалось Славе, и он со смущением и досадой предположил, что может искать покойный.

– Какой баллончик, Витя?

– Талончик, талончик на проезд, – сутулясь и пряча лицо, повторил Виктор и пошел на выход.

Слава за ним. Они вышли в тот самый двор на Чайной горке. Снег, тепло, сырые доски покосившейся угольной будки. Слава понимал, что должен спросить что-то важное у Виктора, задать ему самый главный вопрос. Мучительно думал, но ничего не шло на ум, и язык лежал отупело и тяжело.

«Как мне-то быть? Что делать? – Слава повернулся к Виктору, но его нигде не было. – Где же он?»

Далеко внизу, на море, печально и протяжно просигналил лайнер.

Слава проснулся. Лежа на диване, на котором умерла мать, а потом Витька, он понял, что стал чувствовать вес тела. Душа чувствовала, точно оно становилось более просторным и чужим. Скоро Новый год, год Обезьяны. Может, последней уже Обезьяны.

– Я любил тебя, – прошептал Слава. – Что тут поделаешь?

Рассвело. Бывает утро, что море кажется северным океаном, именно таким, как его делают на картинках по металлу про край земли, про чукчей. Оно далеко внизу, гораздо дальше, чем в обычные дни. И корабли на нем кажутся намертво вмерзшими. Поверхность ровная, шероховатая, и только извилисто уходит посередине лакированный путь. Он долго-долго помнится морем.